

ФЕДОР
ГЛАДКОВ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ФЕДОР ГЛАДКОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

**В ВОСЬМИ
ТОМАХ**



**Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959**

ФЕДОР ГЛАДКОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

**ТОМ
ВОСЬМОЙ
ЛИХАЯ ГОДИНА
ВОСПОМИНАНИЯ,
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ,
СТАТЬИ**

**Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959**

Примечания Б. Я. Брайниной

ЛИХАЯ ГОДИНА

I

С самой весны не было дождей, и хлеба на полях выгорели. Редкая низенькая соломка щетинилась, как жнивье, пустые колоски торчали кверху сухими кисточками. Подсолнечники едва поднимались над землей, маленькие их шляпки желтели на тонких стеблях с опаленными листьями. Всюду было пустынно на полях, и казалось, что они тяжело болели и мучительно стонали. Небо было огненное, на него больно было смотреть. Знойный воздух дымился удушливой гарью, а на горизонте мерцали пламенные марева. Грачи и галки изнуренно садились на сухую траву с растопыренными крыльями и широко раскрытыми клювами.

Мы ехали из Саратова с попутным мужиком, который возвращался домой через наше село. Мужик вез какой-то товар своему лавочнику, и мы кое-как ютились со своими вещичками между кулями и ящиками. Пара ребрастых лошадемок через силу тянула воз, за сутки мы делали до трех пряжек верст по десяти. Ехали больше по ночам из-за удушливого зноя, и мне было жутко трястись на скрипучей телеге в багровой зловещей тьме: зарева далеких пожаров трепетали над горизонтом в разных местах и тревожили душу смутным предчувствием.

— Жгут и жгут... всё бар жгут... — оторопело бормотал мужик. — Лихая бяда... везде бяда...

Мужик был какой-то ошарашенный, пыльный, в заскорузлой от пота и грязи рубахе, в измятом картузе, надвинутом на переносье. Из-под козырька уныло торчал обветренный нос и растрепанная рыжая бороденка. На вопросы отца он отвечал редко и невнятно и только одно выговаривал тяжело, со стоном: «Бя-ада!.. Бя-ада да и только...» Хлеба у него не было и деньжонок не было, а мешок овса для лошадей получил он в Саратове от купца, которому он доставил какое-то сырье от своего лавочника. Работал он у него батраком и ездил от него в извоз на мужичьих одрах. Кормили его всю дорогу мы, и он чуть не плакал от стыда.

Все села на большой дороге мы объезжали стороной: караульные мужики с сучковатыми кольями в руках отгоняли нас от околиц на пограничные межи. Так тогда охраняли народ от холеры.

Отец обычно шагал возле воза или спал, уткнувшись в тюки. Мать сидела, застывшая от дум и немой скорби. Иногда она склоняла голову к моему плечу, когда я сидел рядом с нею, и шептала едва слышно:

— И куда мы едем, зачем едем, Феденька? Что делать-то станем?.. Ведь в черноту, в бездолье едем. Только и гонит нас неволя одна... Были бы крылья — улетела бы я опять на ватагу, к вольнице нашей... Люди-то там какие были, сынок! С кровью мы оторвались от них...

Я сам страдал вместе с матерью. Не ватага и не Астрахань были мне милы: ватажная каторга, душные грязные бараки, свирепое издевательство над людьми, выматывание из них последних сил убивали не только слабых, но нередко и выносливых работников и рабочих. Но там мы узнали и душевные радости и волнения. Мы сроднились там с людьми духовно сильными, которые научили нас видеть жизнь и людей по-новому и пережить счастье общей борьбы рабочих людей за свое человеческое бытие. Мы за этот год выросли оба, почувствовали новую большую правду. А что ожидает нас теперь в родном селе, в старозаветной семье деда? И вот эти голодные мужики,

которые гонят нас от сел в полынные столбники-межи, казались мне зловещими чужрами, предвещающими беды и гонения в родных местах.

В наше село въехали мы после долгих переговоров и споров с дурковатым Ванькой Юленковым, который притворялся, что не узнает нас. А при въезде на улицу мы остановились перед похоронным шествием: один за другим проносили мужики три гроба. Не слышно было ни рыданий, ни вопленья, как прежде было в обычае, да и люди не брели за гробами.

Дедушка с бабушкой вышли к нам навстречу из ворот, а за ними — Тит и Сема. Бабушка заплакала, а дед со взъерошенными зелеными волосами шел, подгибая коленки, и, улыбаясь, кричал пронзительно:

— Ну, явились наши бродяги! Мать, где кнут-то? Выпороть их надо, чтоб не шатались по стороне.

Но я видел, что он шутит, и в нем уже не было ничего страшного: он стал какой-то измятый, надломленный. Он первый обнялся и поцеловался с отцом и с матерью, а с бабушкой мать долго стояла, положив ей голову на плечо, и обе они тряслись от рыданий. Дед повернулся ко мне, и в глазах его мелькнул лукавый огонек.

— Это кто тебя оболванил, астраканец? Общипали вихры — башка-то горшком стала. Опоганился поди, обмиршился. Кланяйся в ноги!

Но я упрямо насупился и попятился от него: кланяться в ноги я отвык. Этот приказ деда показался мне унижительным и обидным.

— А-а, не слушаться дедушку! Избаловался там, на ватаге-то, арбешник?.. Ну-ка, Титка, Семка, дай-те-ка мне чересседельник!

Но Сема смеялся, обнимаясь со мною, а Тит с любопытством оглядывал отца и мать, одетых по-городски, и осудительно бормотал:

— Стыда-то нет... без волосника приехала...

В избе отец с матерью, как принято, помолились и в пояс поклонились и деду и бабушке. Дедушка сел за стол в передний угол, а отец — на конце стола. Тит сел на лавку поодаль, мы с Семой, как парнишки, — на лавке за бабушкой с матерью, перед

шкафчиком с чайной посудой. Сема тыкал меня в бок и шептал:

— Чудной ты какой стал, словно кургузый! Это зачем вихры-то обкорнал? Вы с матерью совсем сторонние да мирские стали.

Дедушка строго внушал отцу, постукивая пальцем о стол:

— Кормить тебя не буду. Для лишних ртов у нас и крошки нет. Видал, как бог наказал народ неурожаем-то? Ни зерна не соберем. У Митрия Стоднева приходится просить, как милостынку, за холсты да за пряжу, а деньгами, у кого они есть, втридорога берет. Вон у холерных и душевую, и усадьбу, и избы за пуд муки в заклад берет.

Бабушка вынесла из чулана черный, как уголь, кусок и простонала:

— Глядите, какой хлебец-то едим... Не ножом режем, а топором рубим этот перегой...

Отец побледнел и, расчесывая дрожащими пальцами бороду, проговорил срывающимся голосом:

— Мы, батюшка, тебе в тягость не будем: свой кусок хлеба достанем и лишнего места в избе не займем. Благослови меня раздельно от тебя жить.

Дед с каждым словом отца разгибал спину, поднимал голову, и я видел, как у него кровью наливалось лицо. Замирая, я ждал, что дедушка сейчас вскочит и ударит отца. Но он, должно быть, не мог нарушить стародавнего обычая — соблюдать благопристойность при свидании с женатым сыном после долгой разлуки. Вероятно, он был уверен, что отец не даст ему и руки на него поднять. Это почувствовали все: Тит оторопело отодвинулся дальше по лавке, Сема изумленно тарасил глаза на отца, а бабушка со стонами причитала:

— Хоть бы побаяли без греха... Отец! Васянька! Помолились бы... к богу бы поближе...

Дед взглянул на иконы и сгорбился. Дрожащей рукой он схватился за бороду, но сразу же уронил кулак на стол.

— Вот шлялся на стороне — и обасурманился. И жененка волосник потеряла. Греха на душу не

возьму — и так грехов много. Неурожаем бог наказал, со всех полей и мешка не намолотить. Живите сами по себе: с чем пришел, с тем и уходи. Раздела не будет: выделять тебе нечего. Кормись сам. У Митрия Стоднева от хлеба амбары ломаются, а копейка-то у него алтыном растет.

Мать сорвалась с места и выбежала в сени. А бабушка рыхло поднялась со скамьи и со стоном пошла в чулан. Но у дверцы остановилась, у нее затряслись плечи: она плакала, закрыв лицо фартуком. Должно быть, она переживала какое-то большое горе. Отец растерянно смотрел на нее, и я видел, что ему было жалко бабушку: он наморщил лоб и тяжело задышал. Только в этот момент я заметил, как грязно и неприютно в избе, как сгорбился и одряхлел дед, словно перенес тяжкую болезнь и еще не выздоровел: не было уже в нем прежней гнетущей силы, и сам он раздавлен нуждой. Кати не было уже в семье, и без нее стало нудно и пусто. Бабушка подошла ко мне и прижала к себе мою голову.

— Приехал вот, внучек, и словно звездочка у нас засветилась. Голосок-то твой так у меня в сердце и звенит. Тосковала-то я как по тебе! А очутился около меня — и нечем тебя попотчевать: ни каши нет, ни молочка нет. Никогда еще мы так не бедствовали... И чего дедушке вздумалось вытребовать вас — ума не приложу. Все-таки деньжонки высылали бы, а сейчас — ложись в гроб да помирай.

Дед, как и прежде, прикрикнул на нее, встряхнув бородой:

— Ну, понесла кобыла, только лягнуть забыла... Не завидуй, от других не отстанем: подохнем не ныне — завтра. Вон гробы-то один за другим тащат — холера подряд всех косит. Архипу да Мосею — работы невпроворот.

И вдруг он поразил меня внезапной переменой: он жалко улынулся, показав из-под усов стертые зубы, и старческим голосом кротко попросил:

— Дал бы ты, Васянька, хоть рублика три... Муки бы я купил у Митрия аль у Пантелея...

Отец, потрясенный, встал и, прижав ладонь к груди, косноязычно пробормотал:

— Да ты чего это, батюшка?.. Аль я... аль я враг родной крови?..

И у него затряслась борода, а глаза налились слезами. Он торопливо вытащил из кармана портмонет и, нагнувшись над столом, подвинул его к дедушке.

— Вот, батюшка... чего есть при мне — все твое.

Дедушка взял портмонет, осмотрел со всех сторон и вытряхнул деньги на стол. Зазвенела мелочь, и упало несколько бумажек. Дед тщательно пересчитал их, потом собрал серебрушки и медь. Отец сидел, обхватив голову руками и опираясь на локти.

Бабушка шептала мне, всхлипывая и постанывая:

— Дедушка-то у нас какой стал!.. Кручина-то его как скрутила!..

Тит опять придвинулся к столу и жадно смотрел на руки дедушки. А Сема хвалился, подталкивая меня локтем:

— Ежели бы я не делал всякой всячины, да тятенька не продавал бы на барском дворе, да не поручал бы продавать на базаре в Петровске, мы бы ноги протянули...

Вбежала мать с какими-то обновками и положила их на лавку около меня. Она встряхнула пунцовую пахучую рубашку и подала дедушке.

— Не обессудь, батюшка, на подарочке... Не дорога копейка — дорога слеза.

Дед покосился на рубашку и на мать и гневно прикрикнул на нее:

— Волосник-то надень! Басурманкой в дом влетела... Возьми рубашку, маты!

Мать не испугалась, словно не слышала окрика дедушки. Она с поклоном передала рубашку бабушке, взяла с лавки большой кубовый платок и развернула его.

— Для тебя от чистого сердца, матушка.

Бабушка растрогалась и заплакала.

— Куда уж носить-то... и на люди с таким добром не покажешься: везде — смерть да беда.

Но мать с радостным блеском в глазах подбежала к Титу, а потом к Семе и положила им на плечи сарпинковые рубашки. Тит схватил подарок, крепко зажал в руке и выбежал из избы, а Сема по старой привычке промычал:

— Спасет Христос, невестка!

Я заметил, что дедушка отодвинул портмонеет отцу, за ним — часть денег, а перед собой оставил пять рублевых бумажек и мелочь.

— Бери! И тебе надо на обзаведенье. А чего у тебя еще спрятано — не спрашиваю: бог тебе судья.

Отец встал и, подняв брови, сказал торжественно:

— Я, батюшка, весь перед тобой. Почитал тебя и почитаю. Милости прошу благословить нас с Настасьей родительским советом и молитвой.

Дедушка снисходительно буркнул:

— Бог благословит. Живите, как хотите.

А бабушка простонала:

— О-отец, раскрой сердце-то свое ради благодати... Смерть-то ведь по дворам ходит да косит...

Мы выбежали с Семой на улицу и наткнулись на вереницу гробов. Их несли высоко на носилках по двое человек. Позади них брела маленькая кучка баб и стариков.

— Холера! — ужаснулся Сема и рванул меня обратно. — Бежим назад, а то она, как чадом, опалит нас.

Мы вбежали во двор и захлопнули калитку. Я смотрел в щелку, но не на желтые гробы, плавно колыхавшиеся на носилках над волосатыми и боролатыми головами мужиков, а на щебечущих касаток, которые носились низко над дорогой и над гробами. И странно, беспокоило меня одно — душная гарь, дымная мгла в воздухе до самого неба, словно тлела и обугливалась земля. Солнце казалось сквозь эту мглу мертвым и твердым, как остывающее железо.

— А где Катя? — спросил я — спросил потому, что без нее изба как будто помертвела.

Сема осудительно проворчал:

— Аль не знаешь где? Ее зимой еще Киселевы высватали. Связалась с Яшкой, а тятенька хотел ей

выволочку дать, да сам испугался, как бы слава по селу не пошла да как бы ворота не вымазали. Только кладку хорошую выпросил: двадцать целковых. А сейчас она у Киселевых — словно сама свекровь.

И неожиданно засмеялся.

— А Сыгнейка — у чебогаря. Ну и мастер стал! Осенью в солдаты забреют — любовью.

— Надо бы Кузяря увидеть...

— Примчится твой Кузярь. На нем сейчас лежит все хозяйство: Кузя-Мазя от холеры умер, а Груня и не встает — брюхом мучается. — Сема даже руками хлопнул по бедрам от удивления. — Вот чудо-то: отец-то здоровый был, а мать пластом лежит, как щепка стала. Ее обошла холера-то, а Кузю-Мазю в сутки скрутила. А чего ты о тетке Маше не спрашиваешь? — упрекнул он меня, но был рад, что первый сообщит мне новость о ней. — Когда Фильку-то забрили, она от Максима ушла в бабушкину келью и стала на барщину ходить. Максим хотел ее на аркане привести, а она у Ларивона спряталась. Он — туда. А Ларивон — недуром на него: все кости ему пересчитал. Я, бает, не тебе, а Фильке ее пропил. Мой грех — мой и ответ. Не дам, бает, ее в обиду. А ежели еще раз на нашу сторону заявишься — и другой глаз выбью.

Сема взывал, повизгивал, размахивал руками, изображая и голосом, и всем телом то Ларивона, то Максима, и смеялся, увлеченный своим рассказом.

Когда гробы скрылись за кладовыми Митрия Стоднева, Сема раскрыл калитку и вытолкнул меня на улицу. На широкой луке, желтой от сгоревшей травы, было пусто, а избы и амбары на той стороне, на горе, казались далекими и мутными. Всюду была глухая тишина и безлюдье, но это была не сонная, не спокойная тишина: я чувствовал, что люди замерли от страха и прячутся в своих избах, кладовых и выходах. И мне слышался скорбный голос бабушки Анны: «По грехам нашим господь посылает велику беду на нашу страну...» И как-то не верилось, что я опять в своей деревне: она как будто та же — и избы такие

же, и лука, и заречные взгорья, и ветлы за рекой, внизу, так же густо зеленеют, но всюду — немая жуткая тревога. И эта страшная холера представлялась мне таинственной тенью, которая бродит по селу и несет с собою моровое поветрие. Но Сема не унывал: он по-прежнему занят был своими сооружениями и, очевидно, только о них и думал. Холера беспокоила его не больше, чем, бывало, мирской бык: забодает он того, кто нечаянно попался ему на дороге. Не отходи от своего двора, не шатайся по шабрам, не ротозейничай, когда несут гробы, — и холера минует и не оглянется. Он не говорил ни о холере, ни о покойниках, ни о бедствиях, которые обрушились на мужиков: это его мало интересовало, потому что это было непонятно и странно и угнетало душу, а интересовался он только живыми людьми, их простенькими делами и своими поделками.

— За этот год я уж не знай сколь сделал разных разностей... Тятенька все их продавал. Я всю семью своим рукомерлом кормлю.

И он самодовольно засмеялся.

— А сейчас я покажу тебе, чего я выдумал. Ничего нет лучше, ежели люди тебе дивуются. Тогда на душе-то словно пасха с колокольным звоном.

Мы прошли с ним в выход, спустились по покато́й дорожке глубоко вниз, в сумеречную клеть, где хранились в сундуках наряды и одежда, а на полках лежали всякие домашние вещи — сита, решета, сбруя, прошлогодняя кудель, священные книги и какой-то железный лом. Ослепленный знойной гарью и солнцем, я сначала утонул в прохладном мраке подземелья, но потом привык к фиолетовым сумеркам и увидел на земле стружки, чурбачки, плотничьи инструменты и среди них — аккуратненькую тележку, похожую на тарантас. Колеса были тоненькие, ошинованные, ступицы и спицы — красиво выструганные. Перед сиденьем торчали две железные ручки. Сема любовно потрогал и погладил тележку и прокатил ее вокруг толстого чурбака, в котором торчал маленький топорик. Ручки замахали взад и вперед поочередно, и тарантасик застрекотал и зазвенел колесами по

неровности пола. Сема радостно засмеялся и посмотрел на меня ожидающим взглядом.

— Что, брат, ага?

Я очарованно любовался этой диковиной и не мог выговорить слова от восхищения.

— То-то, брат! Я знал, что ты приедешь, и надумал сделать самокат. Без лошадей, а скачет. Руки вместо лошадей-то. Ежели такую телегу большую сделать — и лошадей не надо. Они корму просят, а кормить сейчас нечем. Сядут два человека — и катись. Все возить можно, да и на сторону поехать лестно. Надо бы только шестерни приладить, тогда и воз можно нагружать и одному человеку легко будет скакать.

Он подтолкнул меня к двери и строго сказал:

— Сейчас кататься нельзя, перед гробами-то.

Мы вышли на улицу и побежали к буераку. Мне захотелось посмотреть на речку и на келью бабушки Натальи, где сейчас жила тетя Маша. Моленной на прежнем месте уже не было, только кучами лежал какой-то мусор и обломки кирпичей, но старенькая кособокая жигулевка стояла по-прежнему с большим ржавым замком. Пластался за нею и пожарный сарай. Угнетала глухая тишина — и на той, горной, стороне, и на нашем берегу. Не пели даже петухи, не кудахтали куры. И сразу же я увидел на верхнем порядке забитые обломками старых досок окошки и раскрытые крыши: стропила торчали, как кости, с которых содрали кожу и мясо.

— А где моленная-то? — растерянно спросил я. — Люди-то где? Вон и окошки забиты...

Сема равнодушно и скучно разъяснил: моленную под школу разобрали. Земство строит. А чего люди-то? Кои повымерли, кои в бегах от голоду да от страху, а кои от холеры прячутся. Пришла беда — беги кто куда. Вот только жрать всякий час хочется, хоть прясло́ гложи...

Что есть духу я бросился мимо пожарной к церкви: по ту сторону, за оградой, я увидел большой сруб, на верхних венцах которого сидели верхом два мужика и взмахивали топорами. Я забыл обо всем — и о хо-